

Окончание. Начало в "PM" №4330.

ПРИЧИНА СМЕРТИ

Петр Павленко в марте 1938 г. писал в союз писателей:

«Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет даже того главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, — нет темперамента, нет веры в свою страну...»

Надежный писатель был Павленко, проверенный. Один его приятель и соавтор — некто Пильняк — уже лежал, где заслужил, с пулей в черепе, а теперь Петру Андреевичу отдали на перевоспитание кинорежиссера Эйзенштейна, и они вместе сочиняли сценарий про Александра Невского. А Мандельштама Павленко давно уже, с 34-го года, презирал — потому что один следователь на Лубянке по старой дружбе позволял Петру Андреевичу тайно присутствовать на допросах — в укромном каюм-нибудь уголке: за портьерой либо в шкафу, чтобы набраться художественных впечатлений, — так вот, Мандельштам, когда его взяли за стихи про товарища Сталина — что будто бы его пальцы, как черви, жирны и он якобы играет услугами полулюдей, и так далее, — держался на допросах жалко и был смешон: брюки без ремня спадают, ботинки без шнурков не держатся, и сам дрожит всем телом. Петр Андреевич любил тогда — хоть и не положено — за рюмкой кахетинского в кругу товарищей по перу и некоторых существ противоположного пола изобразить истерику и обмороки Мандельштама. И все смеялись.

Но теперь, в 38-м, Павленко было не до шуток. Щекотливейшее поручение он получил: этому недобитку (которого товарищ Сталин пощадил как якобы мастера — поверив заступникам, ныне разоблаченным) поставить окончательный диагноз. У Мандельштама — кто мог вообразить! — хватило наглости вернуться из нетей, объявиться в Москве и — мало того — всучить союзу писателей пук стихотворений: дескать, здравствуйте, советские писатели, я снова с вами! верней, наконец-то я ваш! пишу совершенно так, как нужно, только лучше, чем вы, — извольте же напечатать — и прописка столичная нужна, и вообще носите на руках, ликуя... Следовало немедленно его сплавить, и было совершенно ясно — куда, однако резолюция 34-го года — «изолировать, но сохранить» — вроде бы подразумевала, что великий вождь в то время еще надеялся: эта жалкая личность успеет, раз уж настолько вникла в ремесло, хоть отчасти искупить свою вину, создав произведение, блеском ей соразмерные. Стало быть, приходилось намекнуть — не кому-нибудь, а кормчему: просчет, мол, с вашей стороны, недоумот! Но не в том смысле, что кто-нибудь гениальной вас понимает литературу, — а что подло воспользовались вашим великодушием гнусный классовый враг — бандит Бухарин, на днях как раз приговоренный к высшей мере.

И Петр Андреевич намекнуть взялся. Написал, что и новые стихи Мандельштама темны и холодны, а вдобавок пахнут Пастернаком (помимо того, что каламбур вышел удачный, он еще и утешал, напоминая: незаменимых у нас нет). И для примера написал строфу: добирайтесь, мол, до смысла сами, а я затрудняюсь:

Где связанный и пригвожденный
стон?

Где Прометей — скалы подспорье
и пособие?

А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Поскольку это единственная цитата в его доносе, а этот донос (или экспертное заключение — как вам угодно) убедил Ежова и Сталина, что с Мандельштамом пора кончать, — давайте ненадолго займемся литературоведением. Вчитаемся вместе с ними в четыре роковых строки.

И нам придется признать, что буду-

Русская мысль — Самуил Лурье
Париж — 2000. — 7 сент. — с. 12.

МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО, ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛПАК

Стиль как овеществленное время

ший сталинский четырежды лауреат не оплошал — указал на главный, неизлечимый, нестерпимый порок: просто-напросто не умеет пресловутый мастер воспеть полной грудью, без задней мысли жилплощадь повешенных.

И как деликатно указал, и как смело! Другой бы не отважился. Другой вообще не дерзнул бы критиковать стихи о Сталине — а они, конечно же, о Сталине: кто еще у нас Прометей?

Тому не быть — трагедий
не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он вежа, —
нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен
растущих

Встал на ноги, и все хотят
увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти
не имущих.

То есть кто-нибудь другой, верхогляд и ротозей, решил бы, чего доброго, что все в порядке: психбольница и ссылка не прошли человеку даром, и наконец-то он поправился и сочиняет то же, что и все, — пока что еще не совсем как все, но лиха беда начало, а навык — дело живинное. Главное — направление мысли: кого в 1933-м обозвал, говорят, кремлевским горцем — теперь античный титан, причем победитель, а не как в мифологии — узник, и человечество драматургией труда славит его в амфитеатре всемирной, скажем, истории, отныне, разумеется, не трагичной. Взамен Страшного суда — что-то вроде нескончаемой олимпиады на вселенском конгрессе Коминтерна... Туманно немножко, зато масштаб почти рекордный. Кто-то, правда, взял выше: про солнце прямо написал, что оно как орден у генерального секретаря на гимнастерке, но это в Армении, кажется, и дебютант, — а тут матерый, можно сказать, акмеист перековался, — так пускай себе живет старик потихоньку, дать ему комнату и французского какого-нибудь классика — переводить для денег...

Ведь и могло так повернуться, если бы не Петр Андреевич! Это он заметил, что, сколько автор ни старался, стихи все-таки получились не о Прометее, а о коршуне — он жив и опасен, — и на кого, палач желтоглазый, с выпущенными на лету когтями, похож!

Заметил и подчеркнул — но аккуратно: кому же в здравом уме померещится такое сходство? Решайте сами, а я что? всего лишь недоумеваю.

«Мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность».

Хотя вообще-то — имейте в виду — разбираюсь в этих делах как мало кто; можно сказать, собаку съел:

«Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорий и проч., все это кажется давно где-то прочитанным!»

Ну и все. Ответек союза писателей переслал под грифом «совершенно секретно» отзыв Павленко наркомому внутренних дел и попросил «помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме». Тот помог — и 27 декабря того же года поэт умер в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком.

А вдова (еще не зная, что вдова) писала новому наркомому: за что взяли? мастер для вас так старался! такое все дружественное сочинял! «Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста». Так до самой своей смерти и не догадалась, что коршун погубил Мандельштама!

Коршун — и еще какие-то аории. Наверяд ли Сталин полез в словарь за этим термином. Я искал — не нашел.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛПАК

Удивительная история, не правда ли? Вроде сломали, заморочили, свели с ума — совсем советский сделался человек: в последний раз влюбившись, героиню лирики сталинкой с восторгом величал... А погиб из-за строчки настоящей — пал смертью поэтов.

Потому что чувство стилия совпадает с чувством чести.

В двухсотмиллионной толпе — тщедушный, нескладный, плешивый, беззубый, безумный, в седой щетине вечный подросток — последним присягнул злодею, да и то лишь когда, заломив руки за спину, силком пригнули к жирным пальцам. А перед тем исхитрился еще сплунуть самозванцу под ноги, прямо на сияющие голенища, — сколько силачей дородных к ним припадали в счастливых слезах...

Впрочем, у Пушкина припасен для Мандельштама сюжет еще важнее — в «Борисе Годунове»: юродивый в железном колпаке; с мальчишками злыми робок, а преступного царя не боится: нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит. А бояре хором: поди прочь, дурак! схватите дурака!

Но Годунов страдал кошмарами, вообще был Ирод так себе, с комплексами; а Желтоглазый — туго знал свой маневр.

Мне известен еще только один руководитель, столь же уверенно обращавшийся с творческой интеллигенцией: Исхак ибн аль-Аббас — в 60-х годах IX века правитель Басры; точнее сказать — наместник багдадского халифа. Ну типа секретарь обкома. Но тоже вошел в историю — благодаря победе над поэтом Дибилем (полное имя — Дибиль ибн Али ибн Разин). В то время и в тех местах Дибиль был популярней, чем Мандельштам в России, но у начальства тоже на плохом счету — и по таким же причинам: задибал первых лиц империи хулиганскими стихами. А они очень долго терпели его, не трогали, наивные! — опасаясь, что он каким-ни-

будь экспромтом успеет перед смертью опозорить своего погубителя навеки. А самомнение у него было тоже как у Мандельштама; всерьез уверял, что тексты диктует ему Аллах, и во всеулышание похвалялся опасным своим положением; вот уже пятьдесят — шестьдесят — семьдесят лет, приговаривал он, я несу свой крест на плечах, но не нахожу никого, кто распял бы меня на нем. И лишь когда Дибилю исполнилось девяносто шесть, означенный Исхак ибн аль-Аббас опробовал на нем свое противоядие против лирики и сатиры. Вот как рассказано об этом в знаменитой старинной книге.

Как только Дибиль появился в Басре, Исхак послал своих стражников, и они схватили его. «Исхак приказал принести ковер крови и меч, чтобы отрубить голову Дибилю. Но тот стал закидывать его...» — девяносто шесть, напоминаю, — «начал умолять Исхака, целовать землю и плакать перед ним. Исхак пожалел его, но сказал:

— Даже если я пощажу тебя и оставлю в живых, то должен тебя опозорить.

Он приказал принести палку и бил его, пока тот не обделался. Тогда Исхак велел положить Дибилю на спину, открыть ему рот, наполнить калом и бить его кнутом по ногам. Он поклялся, что не отпустит Дибилю до тех пор, пока он не проглотит весь свой кал, или он скрутит его...»

Не за Сталиным, как видим, приоритет; но он усовершенствовал метод и перевоспитал целую словесность; задал ей верный тон; причем почти не пользуясь кнутом: кое-кого истребил, но исключительно для острастки; заслужил свою участь, если разобраться, один только Осип Мандельштам.

Не странно ли? На площади, занявшей шестую часть земной суши, где яблоку не упасть — столько бояр и особенно стражников, — всего лишь один сыскался исполнитель на такую непрременную древнерусскую роль — правда, трудную — в железном-то колпаке, — и кто же?

ШЕСТЬ СЛОВ

Запах цветущего миндаля выветрился из фамилии. Мандельштаму нравилось подозревать, что Луис Понсе де Леон, августинец, профессор богословия в Саламанке — его какой-нибудь прапрадед. Этот выкrest, четьреста с чем-то лет назад известный в церковных и литературных кругах как Леон Еврей, был по проискам коллег арестован — в трибунале вальядолидской инквизиции признал под пыткой, что «высказывал, утверждал и поддерживал множество еретических, предосудительных и скандальных мыслей и мнений», что сверх того перевел на разговорный, то есть на испанский, язык Книгу Иова и Песнь Песней... Отделался сравнительно легко: пятью годами подвала, где сочинял, между прочим, и стихи — через сорок лет после его смерти напечатанные.

Мандельштам на другом краю материка читал экама Петrarку — сперва итальянский текст, потом свой перевод. Иногда ему давали за это щепотку курева, кусок сахара. Предлагал всем желающим за полпайки послушать сатиру на Сталина — желающих не находилось. Вслух грезил, что Роман Роллан напишет о нем Сталину — и его освободят, — лишь бы до тех пор не отравили. Кончаясь, в тифозном бреду что-то декламировал — не это ли вот?

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами

Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный
воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шлем.
В Петрополе прозрачном мы
умрем, —
Здесь царствуешь не ты,
а Прозерпина.

А может быть, выкрикнул — из «Египетской марки»:

— Петербург, ты отвечаешь за
бедного твоего сына!

Кто-то запомнил шесть слов — будто бы Осипа Мандельштама последний текст: *черная ночь, душный барак, жирные вши*.

Так что сбылась его мечта: он стал поэтом современности.

Санкт-Петербург